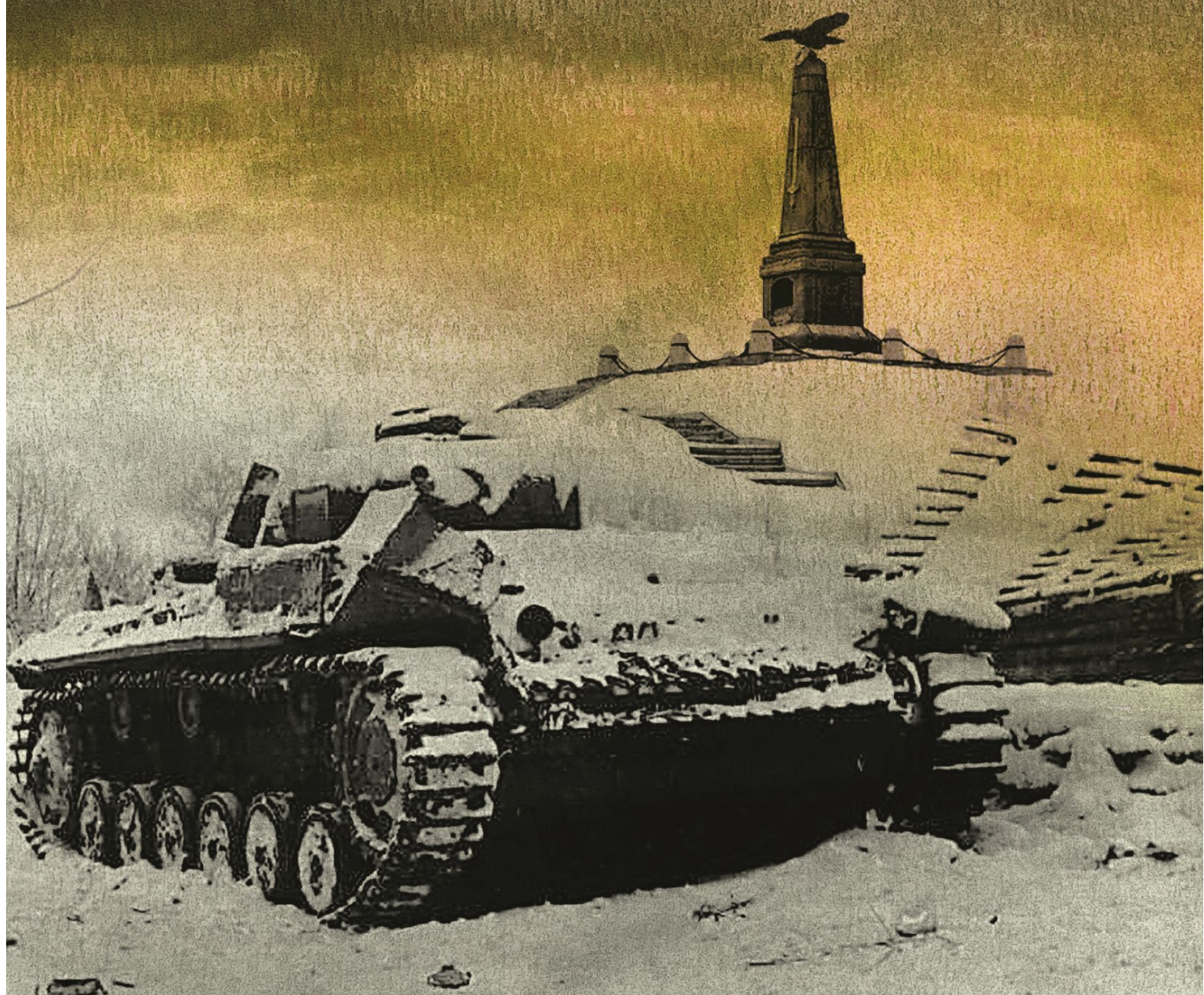


**И В А Н  
Ш Е В Ц О В**  
**БОРОДИНСКОЕ  
ПОЛЕ**



Военный роман (Вече)

И. М. ШЕВЦОВ

**Бородинское поле**

«ВЕЧЕ»

2026

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Шевцов И. М.**

Бородинское поле / И. М. Шевцов — «ВЕЧЕ», 2026 — (Военный роман (Вече))

ISBN 978-5-4484-5996-2

В романе изображаются эпизоды битвы под Москвой осенью 1941 года. Его героям выпала доля сражаться на Бородинском поле и приумножить ратную славу этого памятного места. Воспроизводя подлинные факты боевых действий 32-й стрелковой дивизии под командованием полковника Полосухина, частей народного ополчения, автор прослеживает историческую связь героических подвигов советских людей в годы Великой Отечественной войны с подвигами русского народа в Отечественной войне 1812 года.

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-5996-2

© Шевцов И. М., 2026

© ВЕЧЕ, 2026

# Содержание

Глава 1	7
Глава 2	17
Глава 3	23
Глава 4	32
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# Иван Михайлович Шевцов

## Бородинское поле

### *Роман*

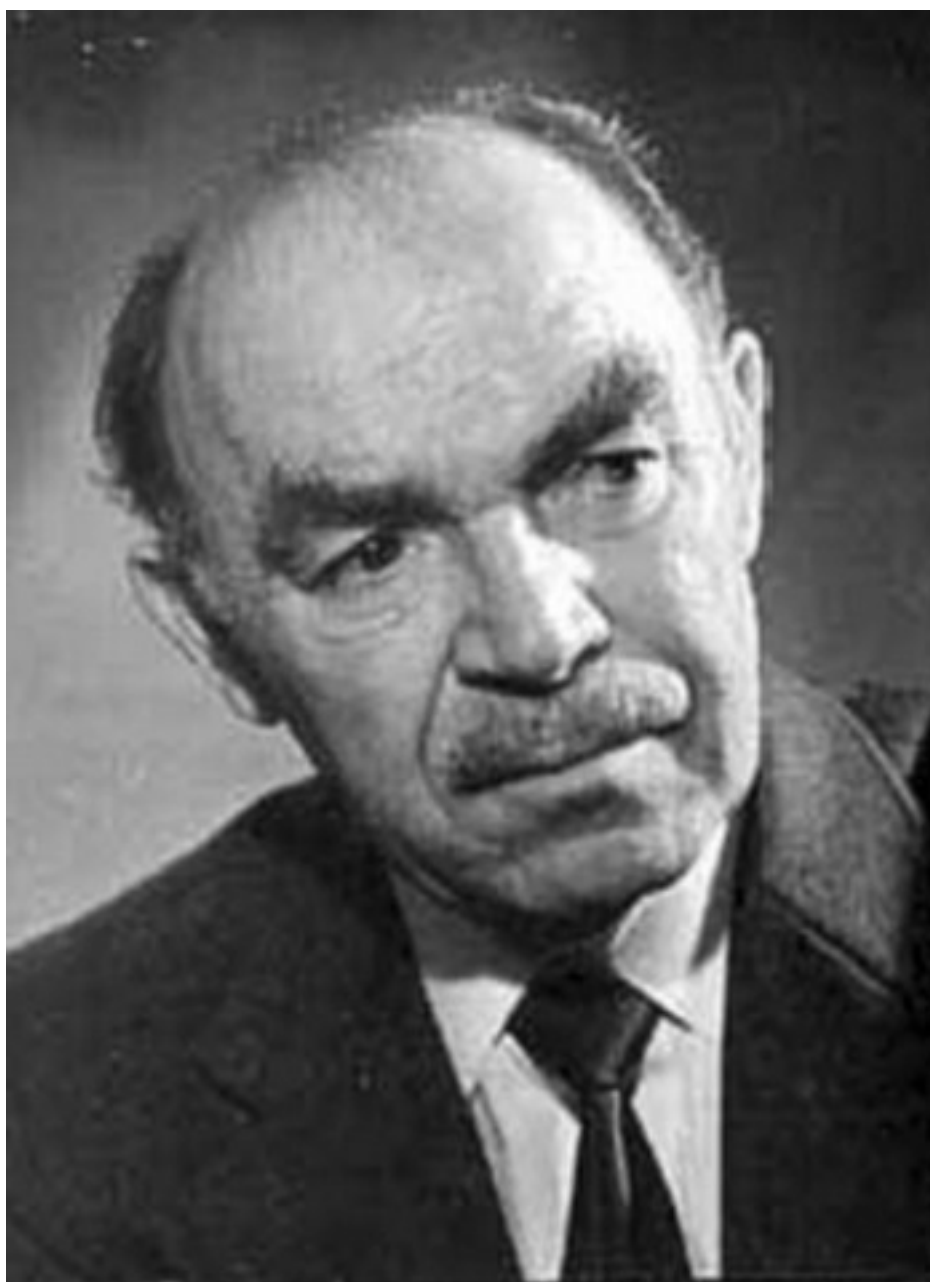
© Шевцов И.М., наследники, 2026

© ООО «Издательство „Вече“», оформление, 2026

\* \* \*

*Народному архитектору СССР Дмитрию Николаевичу Чечулину –  
гражданину и патриоту – посвящаю.*

*Автор*



**Иван Шевцов**

**(1920–2013)**

## Глава 1

В переполненном общем вагоне, несмотря на открытые окна, воздух спертый, густой, перемешанный с едким махорочным дымом – хоть топор вешай. А за окном вагона тихое золотистое бабье лето уходит от Москвы на север, чтоб где-то в ярославских и вологодских лесах оборвать белую паутину задумчивой грусти, растаять в стылых утренних туманах, превратясь на архангельской земле в холодную осень. Торопливо бегут назад телеграфные столбы, медленней проплывают тронутые первой желтизной березовые рощи и безмолвные колокольни церкви, освещенные низким предвечерним солнцем.

И само солнце – раскаленный диск – уже не слепящее, а какое-то угасающее, с четко очерченными краями, бежит вперед параллельно поезду, спешит, торопится, словно играет наперегонки; на поворотах то отстанет, то снова вырвется вперед, то затеряется в густых зарослях придорожного леса, затем сверкнет в просветах деревьев и снова бежит, померкнув от усталости. Она заметна с каждой минутой, солнечная усталость. Накал постепенно ослабевает, принимая сперва багряный, а затем и совсем алый оттенок. И наконец солнце с разбегу врежется в почти незаметную тучу, синеватой скалой лежащую на горизонте. И теперь по западному небосводу уже не диск катится, а просто летит срезанный купол, похожий на парашют. Постепенно алая, этот купол превращается в парящий над землей зонтик.

Красота необыкновенная! Глеб наблюдает ее с верхней полки вагона.

В Загорске, где поезд стоял двенадцать минут, пропуская воинские эшелоны, слышался заунывный, протяжный звон к вечерне.

Вагон – растревоженный улей. Тут смешались и детский плач, и напевный женский говор, и неторопливый рассказ фронтовика о том, какой ад стоял у Соколовской переправы и сколько там полегло наших и немцев – видимо-невидимо.

Майор Глеб Макаров устал от этих разговоров. Он их досыта наслушался в госпитале в Ярославле, где лежал после ранения немногим больше двух недель. Он побывал в огненном аду в жарком июне под городом Гродно – там с превосходящими силами фашистов вели кровопролитные бои части 6-го механизированного и 6-го кавалерийского корпусов. В тех ожесточенных боях погибли командир механизированного генерал Хацкилевич и командир кавкорпуса генерал Никитин. А его, майора Макарова – командира артиллерийского полка, судьба тогда миловала. Ранен он был уже потом, гораздо позже, на смоленской земле. За непродолжительное время боев он повидал такое, что словами не расскажешь – стынут человеческие слова, леденеют, как слезы на сорокаградусном морозе.

А за перегородкой теперь уже женский голос, медлительный и печальный, как звон церковного колокола, рассказывает:

– На пассажирский поезд налетели... Днем это было, а их туча темная, самолетов. Закидали бонбами... Страсти господни, что творилось. Паровоз опрокинулся, вагоны горят, а там люди – полнехонько людей. И детишек, и раненых вакуировали, которые совсем немощные, больные. А он все кидает и кидает бонбы. Вагоны горят, и детишки кричат «Спасите!», а кому спасать-то, когда все кругом горит и бонбы сыплются, грохают, аж земля дрожит.

Слова ее – как ржавой пилой по обнаженным нервам Глеба Макарова. О каком поезде она говорит? Где это было? Может, на перегоне между Гродно и Витебском? С поездом, в котором ехала его жена Нина с восьмилетней дочуркой Наточкой? И Наточка в горящем вагоне звала, может, на помощь?..

Макаров знал, что эшелон, в котором эвакуировались его жена и дочь, фашисты разбомбили. И если бы Нина и Наточка остались живы, они написали бы в Москву. Эшелон их бомбили в конце июня, то есть два месяца тому назад. Позавчера Глеб получил из Москвы от сестры Вари письмо. В конце была печальная фраза: «О Нине и Наточке никаких вестей».

Значит, правду говорила жена полкового интенданта, которая ехала в одном поезде с Ниной и чудом осталась жива: Нина Макарова и дочь погибли во время бомбежки, не доезжая Витебска. Значит, правда, страшная, жуткая правда, с которой нельзя примириться. И он не мирится, не желает, он не согласен. Все врут – и жена интенданта, и эта певучеголосая незнакомая женщина в соседнем отсеке вагона, и Варя. Нина и Наточка живы, они спаслись из горящего поезда и долго-долго, почти целых два месяца, добирались до Москвы. И наконец добрались. Вот придет он сейчас в деревянный родительский дом на Верхней Масловке, а они уже там – Нина и Наточка, будут встречать его...

Глеб Макаров с суеверной настойчивостью и упрямством язычника внушал себе такую фантастичную, нереальную мысль, точно заклиная судьбу, умоляя ее сотворить чудо. Он не верил в чудеса, но сейчас ему до смерти захотелось, чтоб свершилось чудо. Он от кого-то слышал или где-то читал о чудодейственной силе самовнушения и теперь, в самые трудные дни своей жизни, прибегнул к неведомому и неиспытанному.

Так было легче на душе.

Он знал, что в Москве его ждут родные, которых он известил телеграммой. В Ярославле в госпиталь к нему приезжала Варя – любимая сестренка, средняя в семье Макаровых. Младший брат Игорь, лейтенант-танкист, тоже, как и он, Глеб, встретил войну на западе. Последнее письмо от него получено месяц назад. Краткая записка: жив, здоров, бьем проклятую немчуру. Всем боевой фронтовой привет.

Варя показала Глебу Игореву письмо – оно было датировано двадцать шестым июля. А сейчас на исходе август. С тех пор от брата никаких вестей. Может, и в живых давно нет.

В Москву поезд прибыл вечером. Глеб вышел на темную площадь вокзала, и Москва ему показалась необычной, какой-то настороженной, непривычно погруженной в темноту. И только яркий свет в метро вернул ему ощущение, знакомое с детства. Но оно не было продолжительным: на «Динамо» Глеб вышел из метро, встреченный, как и на вокзале, темнотой притихшего, настороженного города. Столичный центральный стадион «Динамо» угрюмо молчал, вздыбив в лунное небо черные силуэты юпитеров. Что-то больно ударило по туго натянутым струнам души, защемило под ложечкой. В памяти пробудились годы пусть не всегда легкой, но навеки прекрасной юности. Сколько раз бывал он здесь, на трибунах стадиона, в кипящем океане страстей болельщиков. Стадион в его памяти хранился солнечным и восторженно шумным, как праздник.

Воровски выползшая из облаков луна бледно осветила самое высокое в этом районе здание – построенный перед войной жилой дом авиаторов. Своей несколько неожиданной архитектурой он напоминал Макарову канцелярский стол, опрокинутый вверх ножками.

Ощущение нового, непривычного отвлекло его на какое-то время от тревожных мыслей о семье, от того нравственного напряжения, в которое он был погружен в последние дни и особенно часы. Эти мысли и напряжение вернулись к нему тогда, когда он знакомым проходным двором вышел на свою улицу, пустынную и приумолкшую. Глеб ускорил шаги: он знал – его ждут. Привычно нащупал в темноте кнопку звонка, нажал ее и не услышал сигнала. Понял, что звонок не работает, постучал.

Открыла мать – Вера Ильинична. Сухонькая, как-то неожиданно состарившаяся, она прижалась к широкой груди, уцепилась за кожаную портупею, заплакала тихо.

– Глебушка, сынок... Один остался.

Голос у Веры Ильиничны вообще был тихий и мягкий, а теперь и совсем пропал, еле слышно.

«Один остался... Значит, не свершилось чудо, не объявились жена и дочурка».

Он поцеловал ее седые волосы и сказал тоже тихо:

– Ничего, мама, ничего.

Потом обнял отца, расцеловались трижды, поцеловал сестру и пытливо посмотрел на смиренно стоявшего в сторонке молодого блондина, хрупкого телосложения, стройного и бледнолицего. Догадался: муж Вари, тот самый молодой и талантливый архитектор, который, по словам сестры, рвется на фронт, а его не отпускают. Познакомились. Зятя звали Олегом Борисовичем Остаповым.

Осмотрел большую квадратную комнату, тускло освещенную керосиновым фонарем, висевшим под потолком. Кое-что переменялось за два года, которые он не был в Москве. Задержал задумчивый взгляд на фотографиях, висящих на стене в простеньких рамочках. На одной, большого формата, Глеб с Ниной, молодые, юные. Он – лейтенант-артиллерист. Нина в то время только что окончила педтехникум. Рядом другая фотография, меньшего размера. На ней они уже вчетвером: Глеб, Нина, Святослав и Наточка. Семья. Была семья... Что-то потемнело в глазах, помутилось. Мать, сдерживая рыдания, удалилась во вторую, маленькую, бывшую Варину комнату, а теперь спальню стариков.

Глеб отвернулся от фотографий, присел к столу.

– Вот так все время – все глаза выплакала, вся извелась, – негромко сказала Варя, кивнув в сторону ушедшей матери.

– Может, еще объявятся, – молвил Трофим Иванович, седовласый поджарый старик, и тоже придвинулся к столу.

– Нет, отец, не объявятся, – сокрушенно произнес Глеб, переведя неторопливый взгляд с сестры на зятя. – Чуда не свершилось. Не бывает чудес... Если бы были живы, дали б о себе знать.

– А не могли они оказаться там? – высказал предположение зять, имея в виду оккупированную немцами территорию.

Глеб отрицательно покачал головой.

Вера Ильинична с Варей быстро накрыли стол: не ужинали, ждали Глеба. Было вино, была водка – не было веселья. Великая беда обрушилась на страну, неутешное горе вошло в семью Макаровых.

– Вот и Славки нет, – говорила Вера Ильинична, – знать, не отпустили начальники. А Варя ездила к нему, наказала, что отец сегодня из госпиталя заявится. А вишь – не отпустили.

– Ты виделась с ним, Варя? – Агатовые глаза Глеба оживленно заблестели.

Святослав, его сын, учился в Московском военно-политическом училище.

– Нет, Глеб, не удалось. Он был на занятиях. Записку через дежурного передала, – ответила Варя.

– Как война началась, всего один разок-то и побывал дома. Да и то на часок забежал, – сообщила Вера Ильинична. – Ты кушай, сынок. Кушай. Исхудал-то как...

– Были бы кости, мать, а мясо нарастет, – сказал Трофим Иванович и поднял граненую стопку: – За здоровье наших воинов, чтоб отступать, значит, перестали. Пора бы его, проклятого, назад погнать.

Глеб выпил молча, ничего не сказал на отцовские слова, посмотрел на мать умиленно – как она изменилась за эти два года, – перевел глаза на сестру. Заметил:

– А ты, Варя, какая-то другая. Не похожа на ту, что ко мне в госпиталь приезжала. Не пойму, в чем дело.

– Секрет, братец, – лукаво улыбнулась Варя родниковыми глазами.

– Открой, – пошутил Глеб.

– Нет, ни за что. Сам догадайся.

Олег смотрел на жену тихим влюбленным взглядом, и лицо его, теперь уже не казавшееся Глебу бледным, светилось нежным внутренним светом. Глеб поймал его взгляд и решил: а в нем есть что-то приятное, располагающее. Жидковат малость телом, но и Варя под стать ему

– хрупкая и в свои двадцать четыре года выглядит совсем юной. Глеб пожал плечами. Олег сказал:

– Я вам открою секрет. Разрешаешь, Варя?

Смеющиеся, с бирюзовой синевой глаза ее разрешили.

– Она прическу меняет два раза в месяц, – выдал Олег.

Варя действительно часто меняла прическу. Ее блестящие каштановые волосы легко и естественно принимали любую форму. То, гладко зачесанные назад, ложились на затылок тугим узлом, открывали высокий лоб и придавали ее лицу выражение доверчивого смирения. То, наоборот, челка закрывала лоб по самые брови, и тогда лицо ее становилось круглым и слишком серьезным. Была еще одна прическа у Вари, которая больше других нравилась Олегу. Это когда волосы вздымались пышной волной и орлиными крыльями падали на обе стороны. Олег говорил тогда: вот это настоящая Варя.

Глеб думал о тосте отца. Он смотрел на него – старого потомственного рабочего, который из шестидесяти пяти лет сорок восемь провел на столичном заводе «Борец», смотрел и старался понять, что сейчас волнует отца. Собственно, это был один-единственный и самый острый вопрос: до каких пор мы будем отступать? И почему отступаем? Должен же кто-то дать ответ на этот вопрос. Не архитектора ж ему спрашивать и не дочь. Ведь Глеб был там, в самом пекле, в жарких сражениях. И не рядовой же он – как-никак командир полка.

Глебу часто казалось, что штатские люди, рабочие и работницы, такие как его мать и отец, в чем-то упрекают наших воинов за поражение и конечно же корят больше командиров, чем рядовых. Было горько это сознавать. И как бы отвечая на безмолвный вопрос отца, Глеб сам начал рассказывать о первых боях в приграничной полосе, когда их мотомеханизированный корпус вступил в неравное единоборство с танковыми колоннами фашистов. Он рассказывал о мужестве и героизме своих товарищей.

– Но у них больше танков и самолетов – и в этом их сила, – говорил Глеб и понимал, что аргументы его малоутешительны.

Варя так и сказала:

– Что ж, выходит, и остановить его нечем? Так он запросто и до Москвы дойдет.

Нет, Варюша, совсем не запросто. Он идет по своим трупам, – быстро и с убеждением ответил Глеб, хмуря густые темные брови.

– Наполеон тоже до Москвы дошел, а чем кончил? – заметил Трофим Иванович. – Россия – она не такой кусок, чтоб запросто проглотить. Нет, подавится. Как Наполеон.

– У Наполеона, папа, не было танков и самолетов. А этот Москву бомбит, – возразила Варя. – Почти каждую ночь налеты.

– Ну и что? А Москва, как стояла, так и стоит, – в волнении парировал Трофим Иванович. Худое лицо его зарумянилось, узкие, со вздувшимися венами руки задрожали. – Стоит и стоять будет! – пригвоздил накрепко. Прибавил в запале: – И над Москвой он не летает. Кишка тонка. Разве что ночью, в потемках, как вор, пытается. А не может. Потому как бьем.

– А бомба на Моховой, – напомнила Варя. – Представляешь, Глеб, в самом центре, у стен Кремля, падает огромная бомба.

– И Белорусский вокзал бомбил, – вставила мать. Она стояла возле стола, скрестив на груди свои маленькие сухонькие руки. – Уж и пожар был, какой пожар – жуть! От нашего дома было видно. Дым клубами, черный-черный, ну прямо аспид, и пламя...

– Цистерны с бензином горели, – пояснил Трофим Иванович. – Отдельные самолеты прорываются. Не без того – война есть война.

– Все это понятно – война разрушает, – скромно отозвался молчаливый архитектор. – И все-таки разум протестует. Страшно за памятники культуры. Взрывная волна снесла скульптуру у Большого театра. А могло и здание превратиться в руины. Или на Моховой. Ведь рядом – Кремль. А недавно огромная бомба упала у Никитских ворот. Мы с Дмитрием Николаевичем

– это мой начальник – сразу выехали к месту взрыва. Представьте себе воронку глубиной пять метров! Памятник Тимирязеву отброшен далеко в сторону, скульптура повреждена.

– Это тот самый Дмитрий Николаевич, который не отпускает Олега на фронт, – сказала Варя Глебу.

Олег засмутился и, будто оправдываясь перед Глебом, сказал:

– Все, договорились. На днях закончим маскировку основных ориентиров столицы, и я уйду в ополчение. Дмитрий Николаевич дал слово, что больше не будет возражать.

– И я с тобой, – всерьез сказала Варя. – Лучше на фронт, чем рыть противотанковые рвы. Представляешь, Глеб, с утра до вечера, не разгибая спины. Каково без привычки: вон – руки в мозолях до крови. – Она положила на стол свои узкие, тонкие руки. На ладонях действительно были мозоли.

– Ну а как же, дочь, иначе? – сказал Трофим Иванович. – Кто-то должен. Недаром говорится и в песне поется: идет война народная, священная война.

– Да я не о том, папа. Я на фронт хочу, воевать.

– Сиди уж, фронтовичка. Не видели тебя на фронте, – сокрушенно проговорила Вера Ильинична. Она знала, что дочь говорит всерьез. – Кончишь свой трудфронт, тогда к Борису Всеволодовичу в госпиталь пойдешь милосердной сестрой.

Борис Всеволодович Остапов – известный столичный хирург – действительно предлагал своей невестке работать в его госпитале, пока идет война. Но Варя почему-то решила, что в госпитале слишком мирные дела, а она, только что получившая диплом об окончании Института востоковедения, владеющая французским и турецким языками, считала, что если уж работать на оборону в это трудное время, то работать там, где рвутся снаряды и свистят пули. Главное, считала она, бить проклятого врага.

– Я видела на крышах домов в Москве у зенитных пулеметов девушек, – продолжала Варя. – Глеб, как ты думаешь, могу я тоже быть пулеметчицей?

– Можешь, сестра, только сначала траншеи и противотанковые рвы нам приготовить, – шутливо ответил Глеб. – Вы где сейчас копаете?

– Под Можайском, – ответила Варя.

– Мм-да... – Глеб покачал коротко стриженной головой, сдвинул темные брови, вздохнул. – Московская область. Мм-да... – Озабоченно сказал: – Однако далеко намерены пустить.

– Бородино, – коротко произнес Олег, и синие жилки на его висках напряглись.

– Вот и я говорю: будет им второе Бородино, – сказал Трофим Иванович. – Будет. Помните мое слово.

Его оптимизм не казался наивным, потому что в словах, в том тоне, каким произносились эти слова, звучала какая-то гранитная убежденность, железная готовность стоять неприступной скалой и не просто умереть в жестоком поединке, а выстоять и победить.

Вера Ильинична, стоя в сторонке, не спускала полного обожания взгляда с Глеба, ее первенца, радости и надежды ее, и светились в теплом материнском взоре очень сложные чувства: нежная любовь и тревога, жалость и гордость и еще та бездонная скорбь, которую рождали думы о загубленной Глебовой семье, о погибших внучке и невестке. «Вот и остался горемыка одинешенек, – думала она, сдерживая подступавшую слезу. – Да еще сынок сиротка, тоже военный, внучек мой единственный, Славочка». И задала она Глебу тот вопрос, который давно ее волновал, тяжелым камнем лежал на сердце:

– Глебушка, ты знать должен: Славочку нашего на фронт могут послать?

– Все может быть, мама. Он человек военный, без году командир, – отметил Глеб.

– Как же это? Он же совсем ребенок, – певуче-испуганно пропела Вера Ильинична.

– Это Святослав-то ребенок? – выпрямился Трофим Иванович и расправил плечи. – Святослав будет самым главным героем в семье Макаровых. Помните мое слово. Твердый мужик, с характером и башковит. Серьезный мужик.

– Ай-яй, что ты такое говоришь, отец. Мужик... Да какой же он мужик – дитя еще, – возражала Вера Ильинична.

– В Гражданскую такие, как он, полками командовали, – не сдавался Трофим Иванович. В это время по радио объявили воздушную тревогу.

– Ну вот, опять пожаловали, все им неймется, – с добродушием молвил Трофим Иванович.

Глеба поразило совершенное спокойствие всей семьи, с которым был воспринят сигнал воздушной тревоги.

Он поинтересовался:

– Что в таких случаях мы должны делать?

– А ничего, – ответил отец. – Первое время бегали в метро. А потом надоело, обвыклись.

– Вообще, положено идти в убежище, – сказал Олег. – На крышах домов остаются дежурные. Обычно немцы разбрасывают мелкие зажигательные бомбы. Мы живем на улице Чкалова. В нашем доме бомбоубежище. Иногда спускаемся туда.

– Нам, пожалуй, надо бежать в метро, чтоб после отбоя сразу домой, – заторопилась Варя.

– И то правда, бегите, – согласилась Вера Ильинична. – А ты, Варя, завтра как? Опять на трудфронт?

– Да, как всегда, – ответила Варя. – Ты, Глеб, надолго удержишься?

– Завтра попробую повидаться с сыном, – ответил Глеб. – А послезавтра с утра – в управление кадров. А там – куда направят. Надо полагать, сразу на фронт.

Глеб проводил Варю и Олега на улицу. Было довольно тепло. Небо очистилось от туч, и высокая яркая луна как-то отчужденно и ненужно висела над Москвой. Острые лучи прожекторов, как гигантские шпаги невидимых рыцарей, скрещивались в вышине. На западе, в стороне Сокола, ухали зенитки. Глеб видел разрывы снарядов. Потом неожиданно в скрещении лучей сверкнул серебряный крестик вражеского самолета. «Ага-а, попался, ворюга», – мысленно торжествовал Глеб, но вдруг самолет как-то бочком скользнул в сторону, провалился вниз и исчез из скрещенных лучей. Прожектора лихорадочно заметались по небосводу, но не могли нащупать фашиста. Там же, за Соколом, гулко ухнула земля, и Глеб понял, что это не зенитки, а сброшенные с самолета бомбы разорвались. Он постоял еще с минуту и потом ушел в дом.

В свои восемнадцать лет Святослав Макаров выглядел вполне взрослым мужчиной. Высокого роста, широкоплеч, как и его отец, настойчивый и упрямый, он унаследовал от своей матери не только черты лица, но и нежность, доброту. Его светло-карие материнские глаза с характерным прищуром смотрели на мир открыто и доверчиво. Но стоило юноше рассердиться, выйти из равновесия, как те же глаза темнели, источали огонь ожесточения и ярости.

Как в школе, так и в военном училище он не был в числе первых по успеваемости, хотя учился довольно ровно, как говорится, на твердую «четверку», ничем особым не выделялся. Но было в нем нечто такое, что как магнит притягивало к нему друзей. Возможно, какая-то откровенная честность и доброта в отношениях с людьми, чувство товарищества и беззаветная верность дружбе притягивали к нему ребят.

Глеб Макаров сам себе признавался, что плохо, вернее, недостаточно знает сына. Тому были свои причины, быть может, не столь уважительные, но все же объективные – частые переезды из города в город, большая занятость по службе. Восьмой и девятый классы, то есть перед тем как поступить в военное училище, Святослав кончал в Москве, и жил он в то время у бабушки.

Они не виделись больше года, и Глеб нашел, что за это время сын сильно изменился: плечистее стала фигура, спокойное круглое лицо не просто загорело, а возмужало, что-то самостоятельное и твердое появилось во взгляде. Тонкие брови стали еще круче. «До чего же он похож на Нину», – грустно подумал Глеб.

По просьбе Макарова-отца начальник училища разрешил курсанту в порядке исключения уволиться до 22.00, то есть на весь день.

Когда они вышли за ворота училища, Глеб подумал: куда идти? Это был не простой вопрос. Их встреча могла оказаться последней – Глеб это отлично понимал, – поэтому предоставленное им время надо было использовать так, чтобы эта встреча навсегда осталась в памяти сердца.

Глеб Макаров любил Москву, как он считал, особой, неповторимой, лишь ему одному доступной любовью. Москва для него была не просто городом, где он родился, где прошли его детство и юность, Москва была частицей его сердца. И чем дальше он от нее находился – в степях Забайкалья или в лесах Белоруссии, тем острее он это чувствовал. Москва жила в нем самом, как душа, постоянно, неизменно, всегда.

Когда Слава был маленьким, Глеб, приезжая с семьей в отпуск в столицу, водил сына по Москве, показывал и рассказывал то, что было близко и дорого ему самому. Мальчик слушал с интересом, с обычным детским любопытством, которое быстро иссякало. Он уставал, и Глеб с досадой думал: нет, ребенок не может чувствовать того, что чувствует взрослый. И вот Святослав, можно сказать, уже взрослый. Надо показать ему Москву.

Было тревожно и даже боязно: а вдруг не поймет, не почувствует того, что чувствует он, Глеб Макаров?

День стоял ясный и сухой, одетый в прозрачную дымку уходящего августа. Многомиллионный город, уже почти прифронтовой, казалось, жил обычной своей жизнью, внешне сохраняя спокойное достоинство и выдержку. Так казалось неискушенному глазу. Правда, на улицах военных было, пожалуй, не меньше, чем Гражданских, в парках и на бульварах бегемотами лежали туши аэростатов воздушного заграждения. Днем они «отдыхали», а по вечерам поднимались в черную высь сторожить московское небо. На крышах высоких домов стояли пулеметы, а на окраине города, на шоссе магистральных, щетинились сталью противотанковые надолбы. Многие здания были нелепо разукрашены, точно на них набросили маскировочные халаты. Глядя на этот камуфляж, Глеб подумал: этим делом и занимается рвущийся на фронт его зять – архитектор Олег Остапов.

Отец и сын шли по Москворецкому мосту в сторону Кремля. Глеб сказал:

– Давай, сынок, постоим здесь. В юности я любил подолгу стоять на мосту и любоваться Кремлем. – Они вошли в каменную нишу, стали, облокотясь на прохладный бетон, и Глеб продолжил: – Отсюда Кремль какой-то особый, монолитный. Его схватываешь целиком, весь.

Сын молчал. Он сосредоточенно смотрел на множество золотых солнц, которыми казались купола кремлевских церквей, на Большой Кремлевский дворец, похожий на пароход юношеских грез. На звездные башни, венчающие неприступно-строгую зубчатую стену. Глеб вспомнил, как в юности, стоя на мосту и глядя прикованным жадным взглядом на Кремль, он ощущал необыкновенный подъем души, какой-то внутренний взлет, блаженство и полноту бытия. Что чувствует сейчас этот молчаливый, стройный, высокий юноша, одетый в военную форму, – его сын, его надежда и будущее?.. Спрашивать было глупо, а Святослав молчал. Потом повернул голову в сторону Арбата, устремил глаза на высокую башню Наркомата обороны, то ли спросил, то ли сказал утвердительно:

– Завтра ты пойдешь туда. И тебе дадут назначение. Как ты думаешь – опять командиром артполка?

– Возможно, – ответил Глеб, не чувствуя ни досады, ни сожаления от того, что сын отвлек его мысли от Кремля. Он ждал новых вопросов, но сын снова замолчал.

– Пройдем на Красную площадь? – предложил Глеб. Святослав кивнул. На углу возле Александровского сада сын спросил:

– А могли они остаться там, в тылу у немцев, мама и Наташа?

Это был ответ на немой отцовский вопрос. Вот, оказывается, что волновало сына.

– Конечно, могли. – И потом добавил уже твердо, уверенно: – Скорей всего, так оно и есть...

Пусть хоть маленькая надежда теплится в нем, пусть согревает душу и не дает ей зачерстветь.

И опять до самой Красной площади шли молча. Глеб смотрел на строгие линии Дома Совнаркома, на легкую громаду гостиницы «Москва». Эти здания строились при нем, на его глазах. А когда ступили на отполированный подошвами брусчатник Красной площади, сын спросил:

– Папа, а если откровенно: на фронте положение наше очень тяжелое?

– Да, сынок, очень. Под Смоленском попали в окружение две наши армии.

– А я слышал, что наши войска на смоленском направлении перешли в контрнаступление и немцы в панике бегут, – сказал Святослав.

– Разговоры, сынок, желаемое за действительное мы часто выдаем.

– Да нет же, папа, это официально. Батальонный комиссар у нас выступал. Он так и говорил: наши войска под командованием генерала Жукова перешли в контрнаступление под Ельней.

– Возможно. Частный контрудар – это еще не наступление. Варя каждый день под Можайском роет окопы, траншеи и противотанковые рвы. Это о чем-то говорит.

– Неужели дойдет до Москвы?

– Все может быть.

– Говорят, и нас пошлют на фронт. Скорей бы.

– Успеешь, сын, навоюешься. Сначала научись...

– А может случиться, что и не успею. Вот будет обидно, если война кончится, а мы и не понюхаем пороху.

– Такого не случится, – грустно сказал Глеб. – Главные бои впереди. Далеко враг зашел, по доброй воле обратно не пойдет. Придется силой выколачивать. Накопим силы, дай время.

– А может, как в двенадцатом году, при Наполеоне, сами побегут. Выдохнутся и побегут, – сказал Святослав солидно. – Я недавно «Войну и мир» перечитал. Заново, внимательно, не так, как в школе. Мне думается, в истории все повторяется. Не в деталях, а в принципе, в общих чертах. И дедушка, между прочим, такого же мнения... А ты знаешь, папа, дедушка наш рассуждает, как философ или как нарком.

– А рабочие, сынок, всегда были умными и мудрыми. И многие наркомы вышли из рабочих. А ты давно с дедушкой не виделся?

– Да уже больше месяца. Мы ходим. Бабушка все плачет. – И запнулся. Он знал, о ком плачет бабушка.

– Конечно, ходим. Пешочком, – предложил Глеб. – Пройдем всю улицу Горького, потом по Ленинградскому шоссе. Как? Не возражаешь?

Сын молча согласился.

Центральная артерия столицы, самая широкая и самая нарядная, показалась Глебу какой-то не совсем знакомой и привычной. На ней не было беспечно гуляющих. На лицах людей, в их быстрой, торопливой походке чувствовались озабоченность и напряжение. Часто встречались военные патрули. Огромные витрины магазинов заложены мешками с песком. На доме рядом с телеграфом огромный плакат – «Родина-мать зовет!». Плакат впечатляет. Они остановились у Тверского бульвара, где тогда возвышался всегда задумчивый бронзовый Пушкин. Постояли несколько минут.

– А ведь могут и его, как Тимирязева, бомбой ушибить, – сказал Глеб, вспомнив рассказ зятя.

– А что с Тимирязевым? – Святослав не знал о бомбе у Никитских ворот.

– Бомбили. И повредили. Олег Борисович рассказывал, – пояснил Глеб.

– Он тебе понравился, Олег Борисович?

– Да как будто ничего. Мы виделись накоротке. А ты что о нем думаешь? – полюбопытствовал Глеб. Замужество сестры, ее судьба не были для него безразличны.

– Не люблю я его, – после продолжительной паузы ответил Святослав.

– Твоя любовь необязательна. Важно, чтоб они друг друга любили, – заметил Глеб и поймал себя на мысли, что он разговаривает с сыном по-мужски, как равный. Ответ сына заинтересовал его, и он спросил: – Чем же он тебе не нравится?

– Какой-то он хрупкий и тихий.

– Но ведь Варя тоже хрупкая.

– Тетя Варя другое дело, она женщина. Она красивая.

– Да и Олег Борисович недурен. Все при нем. А что тихий – это от характера. И кажется, в уме ему не откажешь.

На Пушкинской площади в кинотеатре «Центральный» шел «Чапаев». Святослав как-то весь встрепенулся, в глазах вспыхнули огоньки восторга, и этот восторг прозвучал в его голосе:

– Смотри, папа, «Чапаев»!

Больше не нужно было никаких слов: отец понял его, понял желание сына, предложил:

– Ну так что, посмотрим?

– Давай, – обрадованно согласился Святослав.

На Верхнюю Масловку пришли изрядно проголодавшиеся. Дома была одна мать: зажда-лась. Накормила скромным, но вкусным обедом. Потом сидели втроем, разговаривали, под-жидая Трофима Ивановича. Уже начало смеркаться, когда приехала Варя. Усталая, с глазами, излучающими тихий и добрый огонек, обняла племянника, поцеловала, поразились:

– Как ты вырос, дружок. Дед говорит, что быть тебе генералом. Я не возражаю. Был адми-рал Макаров, пусть будет и генерал.

Деда Святослав так и не дождался: Трофим Иванович вернулся с завода в одиннадцать часов. Много работы. Завод перестраивается на выпуск военной продукции.

Глеб проводил сына до самого училища. Обнялись на прощание.

– Свидимся ли?.. – дрогнувшим голосом сказал отец. – Я знаю, сынок, ты не трус. Об одном прошу: попадешь на фронт – не теряй голову. Не горячись. Хладнокровие и выдержка – вот главные качества бойца. Подставить голову под пулю врага – дело плевое. Для этого не надо ни ума, ни геройства. Любой дурак сумеет. А надо перехитрить врага, победить и самому в живых остаться.

Домой возвращался Глеб с растревоженным сердцем. Дома встретил отца и за разгово-рами как будто успокоился, отвлекся от нелепого предчувствия, угомонила душа. Но нена-долго. Как только легли спать и погасили свет, в голову опять полезли гнетущие думы. Ему вдруг захотелось рассказать жене и дочурке, какой у них Славка, пусть бы и они разделили его гордость и радость. И тут он понял, что никогда им уже ни о чем не расскажет, и они – ни Нина, ни маленькая Наточка – никогда больше не узнают ничего ни о Славке, ни о нем – Глебе Мака-рове, ничего и никогда. От сознания этого становилось жутко, он пытался не думать, забыться, но не было сил. И сон не приходил. Тогда он осторожно встал, оделся, вышел во двор и час, а может, и больше сидел на скамеечке под старым вязом, ожидая сигнала воздушной тревоги. По-прежнему светила луна, было тихо и тепло, как в июле. Дворничиха тетя Настя узнала его, подошла, поздоровалась:

– Не спится, Трофимович?

– Что-то сегодня спокойно в небе, – вместо ответа сказал Глеб. – Или запаздывает...

– Нет, теперь уже не прилетит. Бойтся. Вчерась слышали сообщение: троих сбили и к Москве не пропустили.

В голосе ее звучала завидная уверенность. Глеб вспомнил – мать вчера сказывала, что у Насти сын погиб на фронте, ожидал, что дворничиха заговорит о сыне, поделится своим горем.

Но нет, не заговорила. И от этой мысли спокойней стало на душе. «Не у одного тебя горе. Оно кругом, у всех. Не надо падать духом. Выше голову».

Скорей бы наступило утро, он пойдет в Наркомат обороны и тотчас же отправится на фронт.

## Глава 2

Уже третий месяц на необруанных полях Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики полыхало кровавое пламя войны, пожирая сотни тысяч человеческих жизней. В июле вокруг древнего Смоленска происходили ожесточенные сражения. Бронированные клинья фашистских танковых армий вспарывали нашу оборону. Три армейские группировки гитлеровцев под названием «Север», «Центр» и «Юг» устремили свои стрелы в самые жизненные центры Страны Советов. Стрела «Севера» направлялась на Ленинград. Зловещие стрелы армий «Юга», пронзив голубую артерию Днепра в районе Киева, через украинские степи целились к берегам Дона и Волги. И наконец, главная стрела группы армий «Центр» была нацелена в самое сердце великой державы – на Москву.

С жестокостью людоеда и остервенением фанатика Гитлер, невзирая на большие потери в своих войсках, продолжал вколачивать танковые клинья в оборону Красной Армии... Пал Смоленск. Фашистские танки ворвались в горящий город, неся разрушения и смерть.

Издревле Смоленск называли ключом к Москве. В кровопролитных сражениях фельдмаршал Бок – командующий группой армий «Центр» – овладел этим ключом. Теперь Гитлеру и его генералитету казалось, что нужен еще один бросок – и перед ними откроются ворота Москвы. Конечно, Гитлер не станет, подобно Наполеону, ждать делегацию с хлебом-солью. Он уже принял на этот счет твердое решение – Москву разрушить до основания и затопить. Чтобы и следа от нее не осталось. Смоленск оставался позади. Фашистские войска захватили Ельню, образовав удобный трамплин для последующего броска на восток.

Перед последним броском на Москву Бок решил произвести перегруппировку своих войск, сделать небольшую передышку. Смоленская земля досталась им дорогой ценой: сотни тысяч солдат и офицеров потеряли немцы в боях под Смоленском. И чем ближе была Москва, тем дороже приходилось врагу платить за каждый метр завоеванной земли.

В конце июля Бок отдал приказ армиям группы «Центр» перейти к обороне. Он рассчитывал на временное затишье, полагая, что измотанные в непрерывных боях советские войска не смогут предпринять сколько-нибудь серьезного контрудара. И просчитался. Руководимые генералом Жуковым войска атаковали ельнинский трамплин, разгромили шесть немецких дивизий и очистили от врага город Ельню. И снова десятков тысяч человек недосчитался фельдмаршал Бок.

Вызванный в ставку фельдмаршала командующий четвертой армией генерал Клюге выслушал по своему адресу много крепких, ругательных слов. Перед тем у фельдмаршала по телефону был весьма неприятный разговор с фюрером. Взбешенный потерей Ельни, Гитлер не находил слов, чтобы выразить свой гнев и негодование.

– У вас армиями и дивизиями командуют кретины! – кричал потерявший равновесие фюрер. – Я не понимаю вас, Бок, как вы могли допустить такой позор?! Вы забываете о престиже. Контрнаступление русских и взятие Ельни деморализует войска. Я приказываю решительными действиями немедленно вернуть ельнинский плацдарм!

– Мой фюрер, можете не сомневаться – мы вернем этот плацдарм, – со спокойной учтивостью отвечал командующий группой армий «Центр». – Но это произойдет немного позже. Немедленное же наступление на Ельню в настоящее время привело бы лишь к неоправданным потерям с нашей стороны. Армия устала. Многие дивизии имеют лишь половину штатного комплекта. Для пополнения, перегруппировки и просто отдыха требуется некоторое время.

– Именно для этого я разрешил армиям «Центра» перейти к временной обороне, – резко перебил Гитлер, – а вы вместо этого начали отступать, что я категорически запрещаю! Вы меня поняли, Бок?

– Понял, мой фюрер, – смиренно ответил фельдмаршал, услышав в трубке короткие гудки.

Он хотел сказать Гитлеру, что сдача Ельни еще не означает отступления – потерял лишь частный тактический рубеж, но он понимал, что главное в этой потере – моральный фактор. Потеря Ельни ослабила наступательный дух немецких войск и воодушевила бойцов и командиров Красной Армии. Именно эту мысль и высказал Бок своим подчиненным Клюге и Гёпнеру. Однако Клюге выслушал резкие упреки фельдмаршала довольно спокойно и даже невозмутимо. И когда Бок сказал, что фюрер требует безотлагательно вернуть потерянный плацдарм, бледное лицо Клюге исказила кислая, почти болезненная гримаса. Он медленно подошел к висящей на стене карте, испещренной острыми, стремительными стрелами, направленными с запада на восток, и, как бы размышляя вслух, негромко, неторопливо заговорил:

– Мне кажется, господин фельдмаршал, в азарте боя мы забываем о потерях. Разгоряченный воин часто не ощущает своих ран, которые потом оказываются смертельными. У меня есть дивизии, в которых потери личного состава достигают шестидесяти процентов. Да, господин фельдмаршал, больше половины. И вам это известно, так же как и мне. Я думаю, знает ли фюрер, что Смоленск стоил нам двухсот пятидесяти тысяч лучших сынов Германии?

– Вы преувеличиваете, Клюге, – поморщился Бок. – Откуда такая цифра?

Но Клюге не обратил внимания на его реплику и продолжал:

– Под Ельней полегло еще сорок пять тысяч. Ельня, мизерная точка на карте, в сущности, по европейским понятиям, это даже не город, а деревня. И сорок пять тысяч! А сколько таких Ельней лежит на нашем пути к Москве! Таких и покрупней. – Он вплотную уткнулся глазами в карту и начал читать: – Гжатск, Вязьма, Можайск. Где-то здесь должно быть знаменитое русское поле. Бородино. Поле былой славы и бесславия. А оно между тем на нашей карте даже не обозначено.

– Что вы этим хотите сказать, Клюге? Ваши исторические экскурсы по меньшей мере неуместны. История не повторяется.

– История не повторяется. Но меня беспокоят наши потери. Тысячи, десятки, сотни тысяч!.. Наши ресурсы не беспредельны. И мы должны считаться с реальной обстановкой. Ожесточенное сопротивление русских, их способность не только стойко обороняться, но и наносить контрудары вносят коррективы в наши планы. Я имею в виду темп наступления. Осенняя распутица и русское бездорожье доставят нам много неприятностей. А потом – зима, русская зима!..

– Какая распутица, какая еще зима? – Бок поднялся из-за стола и удивленно уставился на генерала. – Вы отдаете отчет своим словам, Клюге? Москва падет в течение ближайшего месяца, и вся Восточная кампания закончится до первых заморозков. Падение Москвы будет означать окончание войны с Россией.

– Я в этом по уверен, Россия не Бельгия, и Москва не Париж. – Клюге вздохнул и отошел от карты.

Теперь они стояли друг против друга, столкнувшись откровенными взглядами. Бок понял намек: год тому назад немецкие войска, которыми командовал он, фельдмаршал фон Бок, для вторжения во Францию совершили фланговый бросок через Бельгию, которую прошли триумфальным маршем, не встретив сколько-нибудь серьезного сопротивления и не понеся никаких потерь. Доверительный разговор подчиненного генерала показался фельдмаршалу не просто странным, но слишком рискованным.

– Вы устали, Клюге, и я удивлен, – сказал Бок, отчужденно глядя в сторону. – Вам надо отдохнуть. – Бок бросил настороженно-вопросительный взгляд на молчавшего Гёпнера. Ему хотелось знать, что думает на этот счет командующий сильнейшей танковой армией. Но холодное лицо и застывшие глаза Гёпнера были непроницаемы. Тогда он спросил напрямую: – И вы такого же мнения, генерал?

– Наши потери в танках велики, экселенц, – с официальной сухостью ответил Гёпнер. – Прежде чем начать новое наступление, надо пополнить соединения новыми танками. Довести до штатного комплекта.

– Армия устала, – чувствуя поддержку, заговорил Клюге. – Армия требует длительного отдыха. Я считаю, что было бы разумным закрепить на нынешних рубежах и отложить наступление на Москву до весны. Это позволит нам сохранить сотни тысяч жизней немецких солдат. Новое наступление сейчас потребует от нас колоссальных жертв. Напрасных и ничем не оправданных.

– Этого делать нельзя, – быстро и решительно, точно испугавшись предложения Клюге, отозвался Гёпнер. – Это означало бы катастрофу. У русских появилось новое оружие, которое превосходит наше. Я имею в виду их артиллерию, которую они называют «катюшей». Она сеет среди наших солдат панический страх. Затем – их танки Т-34 вступают в единоборство с нашими Т-IV и побеждают. Сейчас, к нашему счастью, у русских мало и «катюш», и танков. Но, если отложить кампанию до весны, русские войска получат в достаточном количестве эту технику. Нет, я не могу с вами согласиться. Надо наступать, пока противник не оправился. Приказ фюрера – взять Москву до наступления зимы – я считаю единственно правильным.

Бок одобрительно закивал головой и, чтобы не продолжать полемику на довольно скользкую тему, быстро сказал:

– Разрабатывается операция «Тайфун». Мы с вами будем ее осуществлять. Наш «Тайфун» должен смести Москву вместе с защищающей ее Красной Армией... Готовьтесь, господа. Я вас больше не задерживаю.

Генералы откланялись и вышли. Но слова Клюге оставили в душе фельдмаршала нехороший осадок. «Да он безумец, – было первой мыслью. – Он просто паникер и трус». И в то же время мысль о неослабевающем, а всевозрастающем сопротивлении русских, а следовательно, и о возрастающих потерях немцев беспокойным червячком поселилась в нем. Бок машинально подошел к карте и отыскал глазами Ельню, обозначенную маленькой точкой. Между Смоленском и Москвой была добрая сотня таких точек – они не сдадутся без боя, потребуют новых жертв. Он на минуту позволил себе мысленно стать на точку зрения Клюге. Что же получается: группа армий «Центр» закрепляется на рубеже Западная Двина, Ярцево, Глухов до весны будущего года. А тем временем группа армий «Север» занимает Ленинград и соединяется с финнами. Это даст возможность отрезать Москву от портов Мурманск и Архангельск и угрожать советской столице с севера. Одновременно группа армий «Юг» прорывает оборону советских войск на Днепре и Дону, выходит к берегам Волги. Таким образом, Москва окажется в полукольце, которое постепенно будет сжиматься. И весной группа армий «Центр» без особых осложнений и излишних потерь войдет в Москву. Но он тут же отметил такой вариант: «Нет, Гёпнер прав, нельзя откладывать до весны взятие Москвы. Это дало бы русским передышку, в которой они гораздо больше нас нуждаются. Наступать, и только наступать!»

И наступление началось в конце сентября. Это было не простое, а генеральное наступление на Москву под кодовым названием «Тайфун». Первыми Бок бросил в бой войска второй танковой группы и второй полевой армии. Танковой группой командовал Гудериан – самоуверенный баловень судьбы, снискавший популярность как мастер танковых клиньев.

... Маршал Шапошников вернулся от Сталина в Генеральный штаб поздно вечером первого октября. Разговор с Верховным был не из приятных. Серьезно обеспокоенный положением на участке Брянского фронта, где танки Гудериана совершили глубокий прорыв и, выйдя на оперативный простор, устремились к Орлу, Сталин бросил несколько едких слов по адресу командующего Брянским фронтом генерала Еременко. Потом, подойдя к карте и ткнув в нее мундштуком погасшей трубки, неожиданно спросил:

– Как вы думаете, почему Гудериан от Глухова не пошел на восток, на Курск и Воронеж, а повернул на северо-восток?

– Очевидно, командование группы армий «Центр» решило взять Москву в полукольцо, нанести одновременно удар с запада и с юга, – ответил Борис Михайлович.

Сталин едва заметно кивнул.

– Надо любой ценой задержать танки Гудериана, – после напряженной паузы продолжал Сталин, стоя у стола и глядя в разостланную перед ним карту. В глухом его голосе звучали нотки явного раздражения и тревоги. – Орел сдавать нельзя. – Он отошел от карты, сделал несколько беспокойных шагов по кабинету, задумчиво глядя в пол, затем остановился и поднял уже более спокойный взгляд на маршала:

– Чем мы можем закрыть эту брешь?

– Несколько дней тому назад мы приняли решение сформировать мотострелковый корпус, – ответил Борис Михайлович.

– Где этот корпус?

– Его еще нет, товарищ Сталин.

– Решение есть, а корпуса нет. – Горькая ухмылка затерялась в усах Верховного. – Кого поставим на этот корпус?

– Есть предложение назначить командиром корпуса генерала Лелюшенко – заместителя начальника Автобронетанкового управления.

Сталин согласился.

И вот теперь начальник Генерального штаба в ожидании прибытия Лелюшенко, который, как он знал, только что был вызван к Верховному, еще раз обдумывал, какими частями можно остановить танки Гудериана.

В это время Ставка не располагала сколь-нибудь внушительными резервами, приходилось собирать, как говорится, с бору по сосенке.

Маршалу Шапошникову шел семидесятый год; последнее время состояние его здоровья ухудшилось – сказывалась, несомненно, напряженная, сверхчеловеческая работа, тяжелое бремя ответственности. Положение на фронтах день ото дня становилось все хуже, напор фашистов не ослабевал. Враг располагал большими силами и шел напролом, не считаясь с потерями. Он рвался к Москве – главной стратегической цели, взятие которой, по убеждению самого Гитлера и многих его генералов, означало бы полную победу.

Шапошников сидел перед картой, всматриваясь в расположение армий, оборонявших Москву. И не было такого участка, с которого можно было бы снять хоть одну дивизию, чтобы срочно перебросить под Орел и преградить путь танкам Гудериана. И хотя на западе от столицы на фронте наблюдалось относительное затишье, начальник Генштаба понимал: оно не продолжительно – Бок бросит и наступление на Москву танковые группы Гёпнера и Гота, полевую армию Клюге. А это огромная, вместе с войсками Гудериана почти миллионная, орда, до зубов вооруженная, закованная в броню.

На востоке, далеко за Волгой, шли к Москве эшелоны новых, еще не обстрелянных дивизий, на Урале и в Казахстане формировались части и соединения. Но когда они придут в Подмосковье? – вот вопрос. Уже были в пути эшелоны 32-й стрелковой дивизии полковника Полосухина, участвовавшей в боях с японцами у озера Хасан. Но ведь и они придут не раньше чем через неделю. А к этому времени Гудериан может захватить не только Орел, но и Тулу, подойти к Москве на пушечный выстрел. В ушах маршала звучали глухие и требовательные слова Верховного: «Орел сдавать нельзя». Да ведь одного приказа или желания мало. И Минск, и Киев, и Смоленск нельзя было сдавать. А сдали, оставили.

Борис Михайлович тяжело вздохнул. Адьютант доложил о прибытии генерала Лелюшенко.

– Проси, – кивнул Шапошников и поднялся устало, сутулый, грузный.

Невысокого роста, плотный бритоголовый генерал вошел энергично и довольно бойко доложил:

– Товарищ Маршал Советского Союза. Я только что от товарища Сталина...

– Знаю, голубчик, знаю, – перебил его Шапошников и жестом руки указал на стул.

Лелюшенко сел. Лицо его побагровело, прищуренные глаза возбужденно сверкали. Он еще находился под впечатлением краткого разговора с Верховным. Сталин считал необходимым лично давать напутствия вновь назначенным командирам крупных соединений. Пусть всего лишь несколько слов, самых обыкновенных, но лично, чтоб человек почувствовал всю глубину ответственности, которая на него возлагается, и не кем-нибудь, а самим Верховным главнокомандующим. И хотя разговор продолжался не более пяти минут, Лелюшенко был горд оказанным ему доверием.

– Вы много раз просились на фронт, – сказал Сталин, глядя на генерала сухим, холодным взглядом. – Сейчас есть возможность удовлетворить вашу просьбу.

– Буду рад, товарищ Сталин, – взволнованно ответил Лелюшенко.

– Ну и хорошо. Срочно сдавайте дела по управлению и принимайте первый стрелковый корпус. – Сталин достал спичку и долго раскуривал погасшую трубку. Лицо его было серым и усталым. Он прошелся по кабинету и продолжал, уже не глядя на стоящего навтыжку генерала: – Правда, корпуса как такового пока еще нет, но вы его сформируете в самый кратчайший срок. Надо остановить танковую группировку Гудериана, прорвавшую Брянский фронт, и не допустить захвата Орла.

По пути в Генштаб генерала Лелюшенко больше всего волновал главный вопрос: из каких частей и соединений будет состоять его корпус? Поэтому он нетерпеливо слушал маршала, излагавшего ему общую обстановку, сложившуюся на участке Брянского фронта, и это его нетерпение не ускользнуло от пронизательного начальника Генштаба, который вдруг выпрямился, снял пенсне и, подняв на генерала усталый взгляд, сказал:

– Знаю, голубчик, вас интересует состав корпуса. – И маршал перечислил части и соединения, которые войдут в корпус. – Вы будете подчиняться непосредственно Ставке. Штаб корпуса укомплектуете за счет командиров управления. Срок – четыре-пять дней.

Лелюшенко хотел сказать, что уж больно сжатые сроки даются для формирования корпуса, но маршал остановил его жестом руки:

– Понимаю, голубчик, а что поделаешь – надо спешить, другого выхода у нас нет. Гудериан торопится к Москве.

Весь следующий день Дмитрий Данилович Лелюшенко провел у себя в управлении. Это был какой-то суматошный день: сдавал дела и одновременно формировал штаб корпуса. Сформировать штаб – это еще не главное. Беспокоило другое: все выделенные в состав корпуса части и соединения находятся за многие сотни километров от Орла. А в бой нужно вступать немедленно, сейчас. И командир начал выяснять, какие части в настоящее время есть на территории от Москвы до Орла. Вспомнил: в Ногинске мотоциклетный полк. Вспомнил и горько усмехнулся: мотоциклы против танков! Полк против целой армии! Но, как сказал начальник Генштаба, что поделаешь – другого выхода нет. Кто-то подсказал, что в Туле есть артиллерийское училище. Что ж, на первый случай и это сила!

В полночь вернулся домой, не успел поужинать – телефонный звонок: срочно вызывают в Ставку. Приехал. В комнате за столом четверо: Сталин, Ворошилов, Микоян и Шапошников. Лица у всех озабоченные. Ворошилов встретил вошедшего быстрым, нетерпеливым и каким-то встревоженным взглядом. Верховный угрюмо склонился над картой. Лелюшенко молча в ожидании замер у двери: понял – что-то случилось неприятное. Наконец Сталин оторвал от карты глаза и устремил их на Лелюшенко:

– Мы вызвали вас снова, так как обстановка резко изменилась. Гудериан уже недалеко от Орла. Поэтому корпус сформировать надо за один день, от силы – за два. Вам надо немедленно вылететь в Орел и на месте во всем разобраться... У вас есть к нам вопросы или... просьбы?

– Прошу разрешения доложить мои соображения, – волнуясь, проговорил Лелюшенко, глядя на Сталина.

– Докладывайте, – разрешил Верховный и, встав из-за стола, сделал несколько шагов в сторону генерала.

– В Орел сейчас мне лететь нет смысла, товарищ Сталин, Наших войск там нет. Прошу подчинить мне тридцать шестой мотоциклетный полк, находящийся в вашем резерве, и Тульское артиллерийское училище. С ними двинусь навстречу Гудериану. По пути подберу отступающих и вышедших из окружения. Этими частями организую оборону до подхода главных сил корпуса. Штаб расположу в Мценске.

Бравый, самоуверенный тон генерала вызвал у Верховного сложное чувство: смесь одобрения и недоверия. Возможно, он вспомнил о недавнем клятвенном заверении командующего Брянским фронтом остановить и разбить армию Гудериана, Сталин терпеть не мог легкомысленных обещаний и теперь с оттенком скептицизма изучающе смотрел на бритоголового генерал-майора, потомка казаков Запорожской сечи, готового совершить подвиг. Он думал: представляет ли этот кареглазый генерал ударную силу танков Гудериана или полагается лишь на свой энтузиазм? Затем он перевел вопросительный взгляд на Ворошилова, Микояна и Шапошникова, точно предлагая высказать свое мнение. Продолжительную паузу нарушил Ворошилов:

– Думаю, что предложение Лелюшенко можно принять.

Микоян одобрительно закивал головой. Шапошников сказал:

– Выступить нужно побыстрее. Немедленно, по тревоге, поднимите мотоциклистов и курсантов.

– Правильно, – сказал Сталин, возвращаясь к столу. Он взял карандаш и уткнулся тяжелым, сосредоточенным взглядом в карту. Не поднимая головы, проговорил: – Товарищ Лелюшенко, дальше Мценска противника не пропускать! – Он резко взмахнул по карте карандашом, и красная жирная черта прошла по извилистой голубой линии, обозначавшей реку Зушу.

## Глава 3

Утром второго октября над Бородинским полем стояли синие туманы, и небо, затянутое белесой дымкой изморози, дышало сыростью и прохладой, а на земле хрустела заиндевелая трава. По всему полю, где в августе 1812 года произошло историческое сражение армии Кутузова с полчищами Наполеона, огромному, разместившему на своей березово-лесистой груди добрую дюжину деревенок, таких как Бородино, Семеновское и Шевардино, вот уже которую неделю с утра до вечера копошились люди, главным образом женщины, в большинстве приезжие, москвичи. И все были вооружены одним орудием – лопатами. Возводили Можайский оборонительный рубеж – рыли противотанковые рвы, окопы, ходы сообщения, блиндажи, оборудовали командные и наблюдательные пункты, огневые позиции для артиллерийских батарей, делали лесные завалы.

К полудню туман выпал едкой росой, а свежий ветерок разогнал легкую хмарь и открыл нежаркое солнце. Оно задорно ударило по звонкой меди березовых роц, разбросанных окрест густыми купами, и те закипели, ярко и весело засверкали золотом спелой осени. Подана команда: «Перекур!»

– Какая красота, девочки! – сказала молоденькая эстрадная певичка Лида и, лихо воткнув в землю лопату, сняла с себя ватную фуфайку, бросила ее небрежно в сторону. – У-уф, жарко. Правда, красиво?

Вопрос относился к Варе Остаповой.

– Да, очаровательно, – сухо кивнула Варя и тоже сняла кожаную мужскую, Игореву, куртку. Но не бросила, как певичка, а отошла к подножию памятника второй Кирасирской дивизии и аккуратно положила ее на одну из бронзовых касок, квадратом окружавших постамент памятника и соединенных железной цепью. Этот памятник, как и все монументы Бородинского поля, красив и оригинален. Серая, увенчанная бронзовым орлом гранитная колонна переходит в своем основании в черный базальтовый шестиугольник, водруженный на трехступенчатом постаменте из серого камня. Варе нравится. А что сказал бы по этому поводу специалист – архитектор Остапов, ее Олег? Варя знает – он бывал здесь, на Бородинском поле, и не однажды, в мирное время. А она вот – в первый раз. «Да, певичка права – красотища необыкновенная». Но Варя восторгается красотой в одиночку и про себя, без слов. Она вообще не любит шумных восторгов. Переживает одна – радость и горе – в душе.

Памятник кирасирам, как и большинство здешних памятников, стоит на холме. А на западе, за ручьем, возвышается огромным куполом ярко-красное здание бывшего Спасо-Бородинского монастыря. Там тоже памятники, много памятников вокруг. Это же знаменитые Багратионовы флешы, у которых бесславно сложили голову тысячи наполеоновских пришельцев. И вот снова, через сто тридцать лет, сотни тысяч новых пришельцев устремились на Москву. Их путь лежит через Бородинское поле: через Шевардинский редут, Багратионовы флешы и батарею Раевского. За две недели работы здесь на сооружении оборонительных рубежей Варя обошла все Бородинское поле, осмотрела все его памятники, одна, без экскурсоводов и спутников. Так лучше.

На душе лежала задумчивая грусть – она помогала легче переносить физическую усталость. А вокруг – красота земли, очаровательная прелесть русской природы. Леса, рощицы и поля изрезаны множеством речушек и ручьев с романтически загадочными названиями: Колочь, Война, Стонец, Огник. И все впадают в Москву-реку. А названия окрестных деревень – родные, извечные: Бородино, Волуево, Шевардино, Семеновское, Фомкино, Фомино, Беззубово, Утица, Дорожино, Горки, Псаревы.

Варя не сразу услышала гул самолета. Думы ее оборвала тревожная команда: «Воздух!» Женщины шархнулись в только что вырытые окопы и блиндажи. Не побежала только

Лида. Она с вызовом грозила лопатой приближающемуся самолету, шедшему прямо на них на небольшой высоте.

– Ха, думаешь, испугалась тебя, такую заразу! – кричала Лида, трясая в воздухе лопатой. – Плевать я на тебя хотела! Паразит! Ну стреляй, стреляй!

Эта бравада певички смутила Варю.

Варя, уже намеревалась бежать вместе со всеми в укрытие, но при виде невозмутимо стоящей у подножия кургана Лиды заколебалась, подняла с кирасирской каски свою кожаную куртку и остановилась у самого монумента. А когда самолет протарахтел почти над головой, она инстинктивно шарахнулась к колонне памятника и прижалась к холодному граниту. Она видела, как из удаляющегося самолета что-то падало и разлеталось в воздухе белым фейерверком. Точно стаи чаек, кружились в воздухе листки бумаги и мягко ложились на Бородинское поле.

– Листовки сбросил, гад! – услышала Варя Лидин голос. – Ишь, мягко стелет. Только мы спать не собираемся.

Одна листовка упала возле постаменты, и Варя несмело, с пугливой предосторожностью подняла ее и прочитала:

«Русские женщины! Бросайте мартышкин труд, расходитесь по домам, ждите нас и встречайте непобедимую немецкую армию хлебом-солью. Началось решающее наступление на Москву. Разгромленная под Вязьмой Красная Армия не в состоянии сдержать миллион солдат и пятьдесят тысяч немецких танков. Помните: вы роете не окопы, а могилы для своих отцов, мужей, сыновей и братьев. Через несколько дней наши войска пройдут по Красной площади...»

Варя с брезгливостью выпустила из рук листовку. У нее было такое ощущение, будто она прикоснулась к чему-то липкому, гадкому, омерзительному. В то же время что-то тяжелое и тревожное легло на душу и больно сверлило мозг. «Миллион солдат и пятьдесят тысяч танков... Немцы в Москве, фашисты на Красной площади. Как это понять? Такое даже представить невозможно. Это же будет конец. Конец всему, чем жила, гордилась, во что верила, о чем мечтала. Это смерть. Рабство – не жизнь. Рабство – позор».

Раздалась команда: «Кончай перекур!» И снова грызли сырую землю тысячи лопат. Варя работала молча, погруженная в тревожные, гнетущие думы. Но сосредоточиться ей мешал звонкий говорок разбитной певички.

– Пугает, грозится. Думает, мы из пугливых, – возмущалась подвижная пухленькая блондинка с густо накрашенными губами. Варя восхищалась ее наивной самоуверенностью, и в то же время ее словоохотливость несколько утомляла, а иногда и раздражала.

Но вот Лида запела. Запела песенку, только недавно появившуюся и ставшую неожиданно популярной. В те суровые дни ее пели и солдаты на фронте, и девушки в тылу, пели задумчиво, вовсе не вникая в наивность слов. Песня называлась «Синий платочек». У Лиды был хоть и слабый, но приятный голос. Ее песенка настраивала Варини мысли на определенный лад – Варя думала об Олеге: послезавтра она проводит его на фронт, в добровольческий отряд. Простится. И может, Олег будет воевать вот здесь, на Бородинском поле. Даже, может, в этом окопе будет лежать с винтовкой или пулеметом, поджидая фашистов. И вдруг она ужаснулась от неожиданной мысли: а что, если все произойдет так, как написано в листовке, – окоп этот станет могилой Олега? Или еще безусого мальчишки Славика, или Глеба, который – Варя знала – в эти дни формирует противотанковый артиллерийский полк?

Продолжая машинально копать землю, она со все нарастающей тревогой думала, задавая себе вопрос: так что ж она копает – могилу или крепость, редут? А Лида уже закончила песню и говорит под руку, словно угадывая Варини мысли:

– Могилы... Еще чего захотели. Сами и найдут себе вот тут могилу, как французы. Кто сказал, что история не повторяется? Враки. История повторяется!

На шоссе появились два легковых автомобиля и остановились на южной окраине Семёновского. Из машин вышла группа людей и направилась сразу к бригаде, в которой работала Варя. Впереди широко шагал полный круглолицый мужчина в простеньких очках, за ним – генерал, два полковника и еще трое в штатском. Поздоровались. Женщины прекратили работу и полукольцом окружили приехавших. По тому, как почтительно здоровались с подошедшими артисты, Варя поняла: высокое начальство. Лицо очкастого ей казалось как будто знакомым. Настойчиво вспоминала: где-то его видела. Но где? Не вспомнила. А он уже разговаривал с окружившими его женщинами, спрашивал, как с питанием, с ночлегом. Сообщил, что здесь, на Можайском рубеже, москвички сегодня работают последний день. Недоделанное закончат местные жители.

– А мы, значит, по домам? – бойко и даже как бы с вызовом сказала Лида и тряхнула в воздухе листовкой.

Очкастый взял у нее листовку и, не читая ее, ответил:

– К сожалению, еще не по домам. Придется снова поработать на трудовом фронте. Только поближе к Москве.

– Александр Сергеевич, – перебила его уже немолодая, седоволосая женщина. – Неужели и здесь его не остановим? На Бородинском поле? Неужто пустим в Москву? До каких же пор?..

– В Москву не пустим, Елена Захаровна. Остановим и разобьем, – твердо и очень спокойно ответил Щербаков, и в его каком-то обыденном негромком голосе прозвучала уверенность, словно речь шла о чем-то бесповоротно решенном, что не подлежало никаким сомнениям. Он смело встретил укоризненный взгляд седовласой женщины, затем, не глядя в листовку, которую держал в руках, сказал уже в сторону Лиды: – Пугают слаонервных и паникеров... вот такими бумажками.

– И я говорила, товарищ Щербаков, пугают. А мы не боимся, – порывисто перебила его Лида. – Закончим копать окопы и сами возьмем винтовки. А что? Их миллион идет на Москву, а нас будет пять миллионов.

Варя догадалась: Александр Сергеевич Щербаков – секретарь Московского областного и городского комитета партии, секретарь ЦК.

– Узнаю москвичей. – В ответ на Лидины слова Щербаков заулыбался широкой одобряющей улыбкой. Потом пухлое болезненное лицо его стало серьезным. В прикрытых очками глазах вспыхнула беспощадная решимость. Он скомкал в кулаке листовку и швырнул ее в сторону. Продолжал твердым, спокойным тоном: – Положение, товарищи, очень серьезное, и мы не собираемся нисколько приуменьшать опасность. Перед нами на дальних подступах к столице стоит сильный и жестокий враг. Будут кровопролитные бои, решающая битва. И мы ее выиграем.

Здесь, на подмосковных рубежах, на историческом русском поле, фашисты найдут свою могилу. Вы ее вырыли, а ваши мужья и братья закопают в нее непрощенных гостей. Спасибо вам от защитников Москвы, спасибо от Московской партийной организации за самоотверженный героический труд, за ваш подвиг. Вы создали перед врагом подлинный бастион.

Он говорил самые обыкновенные, простые слова, без пафоса и эффектных жестов, но ясный и спокойный голос его звучал так проникновенно и внушительно, что как-то сразу располагал и внушал доверие. Варя казалось, что Щербаков читает и ее мысли, и мысли Лиды, и, наверно, этой седой женщины и говорит эти мысли вслух, и оттого, что говорит их он, мысли эти приобретают особую весомость и силу.

Щербаков говорил неторопливо, а между тем он спешил: сегодня нужно было доложить Верховному о готовности Можайской оборонительной линии и о фортификационных работах на ближних рубежах Москвы.

Немецкие самолеты появились после полудня. И появились они внезапно из-за Утицкого леса со стороны железной дороги. Их заметили не сразу, потому что шли они от солнца. Сна-

чала слышали гул моторов. И не успели подать команду «Воздух!», как над головами работающих женщин, словно смерч, пронеслись на бреющем полете два черных креста, исторгая на землю свинцовый град. Варя инстинктивно пригнулась в окопе и в тот же самый миг увидела, как стоящая невдалеке от нее Лида взмахнула руками, точно собралась лететь, и не опустила, а упала, опрокинувшись на спину. Варя первой подбежала к ней, наклонилась:

– Что с тобой, Лида? – И тут же увидела на розовой кофточке темное пятно. Испугалась, растерянно посмотрела на подбежавших женщин. Лида лежала неподвижно, глядя в небо застывшими и как будто удивленными глазами.

Елена Захаровна взяла ее руку, нащупывая пульс, затем приложила ухом к груди. Воцарилась натянутая как струна, выжидательная тишина. Елена Захаровна поднялась и сказала, ни на кого не глядя:

– Была Лида – и нет ее.

Кто-то закричал:

– Лидку убили!..

И зашумело, захохотало, заволновалось многоголосое людское море.

– На фронте убивают и в тылу не милуют.

– Тут тоже фронт.

– Вон она какая, смертушка: жил человек – и нет его.

– Не споет нам Лидочек, не порадует...

– Веселая была, люто фашистов ненавидела, вот они до нее и добрались.

– Пуля глупа – она не разбирается, кто веселый, а кто нет. Косит всех, кого на своем пути встретит.

– Отчаянная головушка. Не берегла себя.

Варя глядела на Лиду с недоумением и странной непонятливостью, все еще не веря в случившееся. На какой-то миг в ее мозгу сверкнула совсем уж неуместная мысль: а может, Лидка шутит? Лежит, как живая, только глаза не моргают. Да, но Елена Захаровна не шутя прикладывалась ухом к груди. Вот она какая, смерть, простая, мгновенная и до невероятия нелепая, бессмысленная. Зачем, ради чего убили человека? Что она им сделала, тем, кто в Берлине, и тем вооруженным до зубов, которые сейчас вот где-то совсем недалеко отсюда, под Вязьмой? И не только под Вязьмой, а на огромном пространстве от Баренцева до Черного моря – убивают, калечат. Во имя чего?

Смерть Лиды потрясла Варю. Она понимала, что идет война, гибнут люди, замечательные, талантливые. Но ведь человек рожден для жизни. И если, случается, он погибает в бою, то смерть его должна быть оправдана какой-то высокой целью, идеей. И тут она подумала, что Лида погибла, как солдат, на передовой.

В связи с уходом мужа на фронт Варя отпросилась у начальства на два дня: надо собрать, проводить – не в гости идет, а на войну. Олег идет на фронт добровольно, по собственному желанию. Олег честный человек, и она гордится им. Только ведь он не военный, совсем не то, что ее братья Игорь и Глеб и даже племянник Святослав. Он не приспособлен к войне, не обучен, в военном деле он ничего не понимает, он даже укрыться не сумеет, когда это надо, его прихлопнут запросто, так же, как Лиду. Он даже не успеет убить ни одного фашиста.

Сам Олег давно рвался на фронт. Сознание того, что его сверстники воюют, сражаются с врагом в трудный для Родины час, а он вынужден здесь, в тылу, делать дело, с которым вполне могли справиться пожилые люди, угнетало его. А все Дмитрий Николаевич – его учитель и старший товарищ. Не отпущу, мол, пока не закончим все работы по маскировке Москвы. Архитектор должен не только строить здания и города, но и спасать их от варварского разрушения. Но вот работы по маскировке столицы в основном закончены. И Дмитрий Николаевич сказал с досадой в голосе:

– Ну хорошо, не смею больше вас задерживать. Воюйте.

Они шли вдвоем по улице Горького серым октябрьским днем – плотный, коренастый Чечулин и щуплый, по-юношески стройный стеснительно-сдержанный Олег Остапов.

– А вообще, будь моя воля, я б не пустил архитекторов на фронт, – резко говорил Дмитрий Николаевич, шагая энергично, широко. Седеющая обнаженная голова его приподнята, острый взгляд решительно устремлен туда, где пики Исторического музея дырявили серый купол неба.

– Почему так, Дмитрий Николаевич? – полюбопытствовал Олег.

– Мало у нас зодчих. Особенно талантливых. А вы представляете, сколько работы будет после войны! Восстановить разрушенные города, строить. – Он замолчал, в задумчивости замедлил шаг. – А пожалуй, я скажу об этом Александру Сергеевичу. Архитекторов надо как-то сберечь, – решил после некоторой паузы.

– Только не сейчас, Дмитрий Николаевич, не сегодня, – с наивной поспешностью попросил Олег. – Вот уйду на фронт – тогда пожалуйста.

«Мальчишка», – подумал Дмитрий Николаевич и улыбнулся своим мыслям.

И в самом деле, что-то мальчишеское еще сохранилось в этом двадцатилетнем тихоне: непосредственность, доверчивость, настойчивость и упрямство.

– Вы и стрелять-то небось не умеете, – уже добродушно сказал Дмитрий Николаевич, совсем не желая уязвить своего молодого коллегу. – Какая от вас польза на фронте?

– Убивать – дело нехитрое. А меня могут в инженерные части направить. Авось пригжусь. Буду разрушать. А после войны заново строить. Если, конечно, самого меня какая-нибудь случайная пуля не разрушит. – Последняя фраза прозвучала без грустинки, с обычной для него легкой иронией.

Они шли от Моссовета вниз, к Охотному Ряду, по правой стороне вдоль пустыря, тянувшегося до самого телеграфа и закрытого высоким дощатым забором; говорили о послевоенном времени так, словно и не начинал Гитлер своего генерального наступления на Москву. Возле телеграфа Дмитрий Николаевич приостановился, внимательно посмотрел на огромный плакат «Родина-мать зовет!», сказал с присущей ему восторженной теплотой:

– А знаете, Олег, какие ассоциации вызывает этот плакат? – Олег недоуменно промолчал, и Дмитрий Николаевич сам ответил: – Вспоминается песня Александрова «Священная война». Да-да, именно она. Это – как набатный колокол.

Олег ничего не ответил, он не сразу уловил смысл сказанного, а Дмитрий Николаевич уже продолжал ранее оборванную мысль:

– После войны многие города придется строить заново. А ведь вы, Олег, мечтали о комплексной застройке. Я помню ваш проект нового города. Фантастика, но дерзкая и красивая. Это хорошо. У нас, Олег Борисович, родилась новая, советская архитектура. Новый зодчий появился, которому предстоит строить новые города. И Москву в том числе. Новую Москву. Наша профессия сугубо мирная. Зодчий – это, как бы вам сказать, символ мира, что ли... Перед самым началом войны я отдыхал в санатории Барвиха вместе с Алексеем Толстым. Алексей Николаевич – человек интересный, увлекательный собеседник и неутомимый спорщик, умный и находчивый. Однажды мы заспорили, что древнее – искусство или архитектура? Я утверждал, что конечно же архитектура. Потому как сначала появился зодчий, а уж потом художник. Ведь что человеку прежде всего нужно? Пища и кров. Архитектура – она когда появилась? Как только человек вылез из пещеры и стал строить примитивную хижину. Алексей Николаевич перебил меня и как будто подхватил мою мысль: «Совершенно верно, – говорит, – зодчий появился, как только человек вышел из пещеры. А художник еще в пещере на глиняных стенах делал рисунки. До появления архитектора. Но вы, говорит, правы: человеку сначала нужна крыша над головой, а уж затем – зрелище».

На углу улицы Горького и Охотного они встретили художника Павла Корина, который в эти тревожные дни также работал в «ведомстве» главного архитектора Москвы. Корин шел

из Большого театра, где производил реставрационные работы. Павел Дмитриевич был чем-то очень похож на Дмитрия Николаевича, и не только статью, коренастой осанкой. Было что-то неуловимое, внутреннее, что роднило их. Сам незаурядный живописец, Дмитрий Николаевич высоко ценил художника Павла Корина, преклонялся перед его могучим талантом. Корин же видел в Дмитрие Николаевиче большого зодчего, восхищался его неутомимой энергией. Из построенных им зданий ему больше всех нравился Концертный зал имени Чайковского. Тепло поздоровавшись, Дмитрий Николаевич заговорил первым:

– Вот провожаю Олега на фронт. Так сказать, прощальная прогулка по Москве. Человеку завтра в бой, а мы вот рассуждаем о том, какие здания будем строить после победы. Нелогично?

– Нет, почему же, – ответил Корин, и ясные глаза его лучились любопытством. – Это даже очень интересно. Я слышал, что рано или поздно, а и к нам, в Москву, придут заокеанские небоскребы. Что вы на это скажете?

– Зачем заокеанские? – Дмитрий Николаевич резко тряхнул крупной головой. – Мы свои построим, в нашем стиле. Бетонные глыбы нам ни к чему. У нас есть свой, национальный стиль зодчества, есть великолепные образцы. Тот же Кремль с его островерхими шатрами башен – образец национального стиля. Я представляю себе Москву завтрашнего дня, где вместо сорока сороков с крестами будут возвышаться пики наших многоэтажных зданий. Только вот Олег со мной не согласен, – с подначкой усмехнулся он в сторону молчаливого Остапова.

Олег не отозвался. Лицо его было сосредоточенным, отрешенно-задумчивым, но не грустным, а, напротив, каким-то просветленным. Дмитрий Николаевич не уловил этой просветленности и сказал невпопад:

– Что вы такой задумчивый? Мысленно вы уже там, на фронте, мосты взрываете?

– Нет, Дмитрий Николаевич... Я сейчас думал о другом.

– О чем же, если не секрет? – быстро спросил Дмитрий Николаевич.

– Враг у порога, над нами смертельная опасность, а мы спокойно рассуждаем о завтрашнем дне, как будто этот день гарантирован всевышним.

– А вы не считаете, что он... гарантирован? – стремительно спросил Дмитрий Николаевич, и в низком голосе его прозвучало нечто настойчивое и резкое, что смутило Олега.

– Нет, не считаю, – конфузясь, ответил Остапов и густо покраснел. – Но некоторые сомневаются и бегут из Москвы на восток.

– Некоторые не в счет, – резко и почти с раздражением отозвался Дмитрий Николаевич. – И потом, надо разобраться: бегут – это одно, а эвакуируются – совсем другое. Вот Павел Дмитриевич не уехал. И напрасно. Вам бы надо уехать непременно. Талантливых людей надо беречь. Мы всех академиков-зодчих эвакуировали.

– Разве? – поднял ясные глаза Корин. – А я вчера на улице встретил Алексея Викторовича Щусева. Насколько я помню, он академик архитектуры.

– Отказался, – ответил Дмитрий Николаевич. – Заупрямился старик. Что с ним поделаешь – таков уж он есть. На днях я тоже встретил его, но не на улице, на крыше дома. Представьте себе: утречком, вижу, сидит на крыше человек с палитрой в руках. Перед ним этюдник. А на голове – кастрюля. Да-да, обыкновенная кухонная кастрюля. Присмотрелся – да это ж Алексей Викторович! Спрашиваю: «Что вы там делаете в такую рань?» Отвечает: «Решил рассвет над военной Москвой написать. С аэростатами, знаете ли, эффектно получается». – «А на голове что у вас? Никак, кастрюля?» – «Она самая, вместо каски. Осколки, знаете ли, падают от зенитных снарядов. А так, говорят, безопасней». Я ему опять: уезжать, говорю, вам из Москвы надобно. А он мне: «Соглашусь при одном условии – если и детища мои со мной вместе эвакуируете: Мавзолей, гостиницу „Москва“, Казанский вокзал. А без них я никуда не поеду». Вот он каков – Алексей Викторович. Учитель мой.

– И не он один таков, – заметил Корин. – Многие художники отказались покинуть Москву.

– Музыканты тоже, – вставил Олег, вспомнив, что сегодня он идет на концерт. – Голованов, например.

Возле Дома Союзов они расстались. Здесь Олег назначил встречу своей жене: перед уходом на фронт они решили побывать на концерте симфонической музыки. Многие театры в это время уже эвакуировались из Москвы, но большой симфонический оркестр, руководимый Николаем Семеновичем Головановым, продолжал давать концерты. Провести последний вечер перед уходом на фронт в Колонном зале предложил Олег, и Варя охотно согласилась. Она не принадлежала к категории меломанов, на симфонических концертах прежде не бывала, но, как и миллионы обыкновенных людей, не лишенных начисто слуха, воспринимала музыку с удовольствием, без внешних восторгов, особенно песню, хотя сама пела редко, почему-то стесняясь.

В рабочей семье Макаровых не было музыкально одаренных людей. Репродуктор, появившийся в их квартире с незапамятных для Вари времен, заменял им и эстраду, и концертный зал, и даже театр.

Иное дело – Олег. Он учился в музыкальной школе, родители видели в нем будущего композитора, а он вместо консерватории поступил в архитектурный и после окончания института редко садился за старый рояль, который занимал третью часть их комнаты в коммунальной квартире бывшего купеческого дома в Яковлевском переулке, возле Курского вокзала. Когда-то эта комната принадлежала его бабушке, а у Олега была своя комната в отцовской квартире на улице Чкалова. Но бабушка по старости лет часто хворала и нуждалась в постоянном присмотре, поэтому незадолго до окончания института Олегу пришлось переехать в Яковлевский переулок, а бабушке – на улицу Чкалова. И теперь молодожены жили отдельно от своих родителей в тихом переулке. Соседи у них были тихие, простые люди, уже пожилые и бездетные – занимали они так же, как и Остаповы, одну большую комнату и особых неудобств молодой чете не доставляли.

Варя и Олег дважды прошлись по длинному просторному фойе под обстрелом десятков глаз, и Варя с вызывающей улыбкой коснулась уха мужа и шепнула:

– Я, кажется, выгляжу белой вороной. Только честно?

– Лебедем, Варенька, лебедушкой, – ответил он с искренней гордостью.

Она нежно прижалась к нему.

Варя была точно такой же, как в день свадьбы, сказочной и неземной, только не такой застенчивой, как тогда, четыре месяца тому назад, Олег боготворил ее, любовался и гордился ею и не мог нарадоваться своему счастью, которое иногда казалось ему розовым сном, и он боялся пробуждения. Завтра он уйдет на фронт и запомнит ее вот такой навсегда. Он пронесет ее образ через войну, она будет сопровождать его повсюду и в самый тяжкий, быть может, последний миг она станет рядом с ним белой лебедушкой.

Олег старался не думать о завтрашнем, о фронте – он жил сегодняшним днем, вот этими часами, когда он был вместе с любимым человеком. Ему не хотелось сейчас видеться ни с кем – ни с родными и друзьями, ни просто со знакомыми. Сегодня для него весь мир был заключен в ней, в его Варе. Вчера она рассказала ему о гибели певички Лиды, и тогда он взял с нее слово, что она пойдет работать сестрой или санитаркой к его отцу – Борису Всеволодовичу Остапову.

Это хорошо, что они пошли сегодня на концерт, удивительно хорошо! Варя сказала, что, к ее стыду, она только второй раз в Колонном зале. Первый раз была в школьные годы, уже не помнит, по какому случаю, и теперь она заново открывала для себя дивное чудо русского зодчества. Олег бывал здесь не один десяток раз, и всегда как-то по-новому виделось ему гениальное творение Казакова. Оно неповторимо, как «Война и мир», как «Лебединое озеро», как поэзия Есенина, которую он обожал. И в этом необыкновенном зале шел действительно необыкновенный концерт – в столице, которая стала прифронтовым городом. Необыкновенным было и то, что в зале сидели люди с оружием, среди них были и раненые, перевязанные бинтами.

Необыкновенной, преисполненной глубокого символического смысла была и музыка – увертюра Чайковского «1812 год».

Никогда прежде Варя не испытывала такого чудодейственного блаженства от музыки. Впервые за всю свою недолгую жизнь, сидя в зале, незаметно, исподволь, она погружалась в еще неизвестный, неведомый для нее мир, сотканный из звуков и мелодий, и мелодии эти всколыхнули в ней что-то очень сокровенное, хранившееся в недрах души, и оно, это сокровенное, что долго лежало глубоко на дне, под спудом, ожидая своего часа, вот теперь всплывало на поверхность, поднималось горячей, мятежной волной, и оно было самое главное в жизни. Перед ней проходили милые, несказанно дорогие картины, но не внешние, а какие-то глубинные образы, которые нельзя выразить словами, у них нет названия, потому что слова бессильны, а сами образы не имеют конкретных очертаний, потому что они выше, величественней предметного и зримого. В многострунной ткани мелодичных звуков переплетались и гармонично строились образы всего самого лучшего и бесценного, что познала она в этом мире за свои двадцать четыре года. И хотя то, что создал Чайковский, было посвящено далекой богатырской истории русского народа, Варино воображение воспринимало его как нечто вечное и непреходящее, не знающее ни начала, ни конца, как то, что мы иной раз пытаемся выразить одним объемным и звучным словом – ОТЕЧЕСТВО.

Концерт шел без антракта всего один час и оканчивался до налета немецкой авиации. На улице было прохладно и сыро, похоже, что собирался дождь. Но они не ощущали прохлады. Не в ушах, а в душе Вари продолжала звучать музыка, то бравурно-богатырская, то тревожно-призывная, то величаво-торжественная, то трагически-грустная. Музыка то приглушала, развеивала думы, отдаляла их, то приближала.

– Ты довольна? – спросил Олег, когда они спускались в метро.

– Довольна? – переспросила она, точно удивившись его вопросу. – Не то слово. У меня сегодня праздник, милый Олежка. Большой праздник, как это ни странно звучит. Да, праздник... А завтра... завтра наступят будни, черные будни...

– Не надо так, Варенька... родная, – прошептал он, нежно сжимая ее руку. – У нас всегда будет праздник. Вечно. Потому что ты женщина необыкновенная. Об этом знаю только я, и больше никто. Нет, конечно же на тебя обращают внимание, ты нравишься, ты красивая. Это видят все. Но, что ты прекрасная, знаю я один. Один на всем белом свете. А это огромное счастье. Ты извини меня, Варенька, я разговорился. Я тебе никогда прежде не говорил, что ты значишь для меня. Нет, не то... Я говорил, конечно, мысленно. Ты знаешь, Варенька, я часто разговариваю с тобой мысленно, и потом нечаянно иногда срываются только два слова: «Варенька, родная». Это вслух. И один раз даже при людях, при Дмитриии Николаевиче было. Я смутился, а Дмитрий Николаевич сделал вид, что не обратил внимания.

Она еще нежней прижалась к нему и поцеловала. Она видела его какую-то юношескую, застенчивую взволнованность и как-то по-особенному, до боли ощутимо, всем своим существом поняла, как дорог ей этот человек, самый близкий и родной в этом тревожном, пылающем в огне, истекающем кровью мире. И ей почему-то подумалось, что она мало, недостаточно, не все сделала, чтобы он был счастлив так же, как счастлива она, Варя, уже не Макарова, а Остапова. Ей казалось, что и живет она теперь только для него, и следит за собой, за своим внешним видом, только для него. До других ей нет дела, был бы он доволен ею.

– Олежка, милый, если с тобой что случится, я не переживу. Без тебя я не представляю себя. Мы – одно целое, правда, милый? Ты согласен?

Они шли на Красную площадь. Шли и вполголоса разговаривали, не обращая внимания на редких прохожих, точно они были одни в этом большом городе. И несли они сюда, на Красную площадь, на главную площадь Отечества, свою огромную, как мир, горячую, как солнце, чистую, как весенние ветры, нежную, как поцелуй ребенка, ЛЮБОВЬ. Они сами были воплощением этой любви, самой что ни на есть человеческой, но которую люди называют неземной.

Оба они (каждый про себя) с тайной тревогой думали, что, возможно, этот вечер станет последним в их жизни... Это была до жути страшная мысль, они отгоняли ее и говорили, говорили о том, о чем думали прежде в одиночку, но не решались сказать друг другу, потому что это были сокровенные мысли, даже не столько мысли, сколько чувства.

– Знаешь, Варенька, – снова продолжал Олег, – с тех пор, как мы с тобой встретились, как я тебя полюбил, я жил для тебя одной. И все, что я делал, я делал для тебя. И старался делать так, чтоб ты была довольна, чтоб то, что я делаю, было достойно тебя. Ты была, есть и будешь всегда моей совестью. И там, на фронте, поверь мне, родная, я каждый свой шаг, каждый поступок буду сверять с твоей совестью и делать так, чтоб ты могла мной гордиться. Ты будешь всегда со мной рядом, в сердце и в мыслях... Ну а если случится со мной беда, прошу тебя, перенеси ее мужественно.

– Не говори об этом, прошу тебя, – торопливо перебила Варя, прикрывая его горячие губы озябшей рукой.

Он поймал ее руку, нежно прижал к своему лицу, поцеловал и продолжал:

– Об одном прошу: дай мне слово, что ты пойдешь работать в госпиталь отца. Я буду спокоен. Сделай это ради моего спокойствия.

– Хорошо, Олежка, буду работать у Бориса Всеволодовича. Может, с завтрашнего дня. Провожу тебя на фронт, а сама – к раненым.

Олег почти физически ощущал, как все возрастает в нем чувство любви к Варе, которую он все время видел какой-то новой, открывал в ней новые черты и грани, и этим граням, как в дорогом бриллианте, не было числа.

Пошел мелкий дождь, стылый, неприятный.

– Дождь перед разлукой – это к удаче, – сказала Варя.

И от слов ее у Олега что-то теплое разлилось в душе.

– К удаче, Варенька. Будем верить в нашу удачу.

## Глава 4

Вечером 4 октября генерал Гудериан праздновал победу. В жизни так уж повелось: каждая большая удача, а тем паче победа, требует торжественного венца. Радость в одиночку – не радость. Она просится на люди, да к тому же если эта радость окрылена славой.

У Гудериана было преотличное настроение – он имел достаточно оснований для торжества. Шутка ли, после успешного прорыва Брянского фронта вчера, то есть 3 октября, его танки почти без боя и без потерь заняли областной центр России город Орел. Такое событие грешно было не отметить хорошим ужином в кругу друзей и сподвижников. И ужин был устроен для узкого круга высших офицеров, подчиненных командующему 2-й танковой армией.

Сегодня Гудериану звонил фюрер, поздравлял и благодарил. Он сказал, что восхищен успехами 2-й армии. Между прочим, Гитлер сообщил Гудериану, хотя тот уже знал, что началось генеральное наступление на Москву с запада и северо-запада. Это означало, что танковые группы Гота и Гёпнера, а также полевая армия Клюге ринулись на советскую столицу. Гитлер сказал: перешли в наступление войска на главном направлении. Эта фраза вызвала ироническую гримасу на лице Гудериана. Выходит он, Гудериан, не на главном направлении. Ему приказано развивать удар на город Горький, чтобы отрезать Красную Армию от восточных коммуникаций. Если это удастся, то русские окажутся в котле. Он, Гудериан, не уверен, что такой вариант наиболее целесообразен. Зачем удлинять путь и терять лишнее время в бескрайних просторах России, тем более что наступает осенняя распутица? А не лучше ли покороче – повернуть сразу на север и, захватив с ходу Тулу, ворваться в Москву с юга на плечах отступающих русских? Перед армией Гудериана, по данным разведки, нет сколько-нибудь серьезного противника, если не считать нескольких стрелковых частей, которыми командует какой-то генерал-майор Лелюшенко. Не тот ли, что работал в автобронетанковом управлении? Возможно, хотя никаких советских танков от Орла до самой Москвы разведка не обнаружила. Значит, с юга путь на Москву открыт, и еще неизвестно, господин фон Бок, где будет главное, а где вспомогательное направление в битве за советскую столицу. И пока господа Гёпнер и Клюге будут стучаться в западные ворота, он, Гудериан, взломает танковым тараном южные и первым войдет в Москву. И это будет вполне справедливо. Это его, Гудериана, танки прошли триумфальным маршем по дорогам Польши и Франции. Правда, в России ему пришлось понести серьезные потери в людях и боевых машинах, но несравненно меньше тех, которые понес Клюге от генерала Жукова в боях за какую-то ничтожную Ельню. Зато взятием Орла он компенсировал все предыдущие свои потери. Фюрер восхищен. Должно быть, об этом известно его непосредственному начальнику фельдмаршалу Боку. Недаром же он срочно прислал в Орел своего приближенного – командира танковой дивизии генерал-майора Штейнборна.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.